

Оксана Ван

**Огонь для последнего
Дракона**

Ван О.

В17 Огонь для последнего Дракона / Оксана Ван. – М.: Литнет, 2026. – 422 с.

ISBN 978-5-521-99123-5

Иногда мне кажется, что я слышу, как тихо бьётся сердце мира... где-то там под землёй, между корней и камней. Раньше я думала, что это просто ветер, а теперь знаю – это дыхание того, кто слишком долго жил в одиночестве.

Меня зовут Ха Ён. Я ведьма, но моя магия пахнет не бурями, а травами. Она не сияет, не поражает – она просто лечит, греет, шепчет: «Живи». Люди не боятся меня, но и не верят. Для них я – странная, тихая, лишняя. И я привыкла к этой тишине. Пока однажды в дверь моего дома не постучало нечто, от чего дрожит сама земля.

Мужчина – израненный, чужой, опасный. С глазами, в которых горел вечер, и с кожей, по которой струился свет, будто под ней дышит пламя. Я прижала ладонь к его груди и почувствовала огонь, не похожий ни на один, что видела раньше.

Он сказал, что должен умереть, а я, не зная почему, решила, что не позволю. Теперь его дыхание живёт рядом с моим. Мой страх стал его тенью, а его боль – моей песней.

Хранители зовут нас нарушением порядка, а мир шепчет, что ведьма не должна любить дракона. Но кто вообще решает, кого спасти, а кого отпустить?

Он – пламя, что рушит всё, к чему прикасается.

А я – всего лишь травница, что не умеет бояться огня.



Знак информационной продукции согласно
Федеральному закону от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ.

Пролог

Мне всегда казалось, что мир начинался не со слова, а с дыхания. Так учили меня старики у очага, так пела мне мама, когда я ещё не доставала до верхней полки с травами, – дыхание было первым заклинанием, которое произнёс мир, и потому всё живое тянется к тёплому выдоху, к пару, к туману над чашей и к огню над горой. И если прислушаться, гора тоже дышит. Лес дышит. Даже камень, бессердечный, но терпеливый, делает свои долгие, вековые вдохи и выдохи, от которых трескаются волны и распускаются цветы во впадинах.

А прежде всех, говорили мне, дышали драконы.

Я видела их только рисунками на старых свитках, в заброшенных храмах – высеченных в камне линиях, которые всё ещё хранят тепло пальцев мастера. На тех рисунках драконы были похожи на ветер, на молнию и на рыбу, вынырнувшую из тепла земли, – длинные, как реки, с грозowymi гривами, их чешуя не повторяла ни одного цвета, какой можно было увидеть простым глазом, потому что каждая пластина отражала небо таким, каким его помнил сам мир. Мне нравилось думать, что драконов нельзя было поймать не потому, что они были сильны, а потому, что они были привычны к свободе, как облака к небу, как дым к печи.

Старики говорили: дыхание драконов держало мир. Их выдох – это огонь, от которого загорались звёзды, их вдох – это туман над склонами, где прячутся семена до поры, пока не придёт весна. Они не были богами. Они были привычкой мира жить. Когда дракон отдыхал на хребте горы и закрывал глаза, лес не падал во тьму, он просто замирал, чтобы прислушаться. В такие дни даже самые изворотливые звери становились смирными, а люди, какими бы беспокорными ни были, переставали ругаться на рынок и вспоминали, что у них дома ещё тёплые стены и миска с рисом.

Я не жила в те времена, и никто из тех, кто шептал эти истории, тоже не жил. Но у легенд есть такая особенность: если их рассказывают долго, они начинают дышать сами. И я, девчонка с запутавшимися в косах репейниками, сидела на пороге и слушала, как мир притягивает и выталкивает, и в этом притяжении и выталкивании слышала далёкие шаги каменных храмов, которых теперь не существует. Говорили, храмы строили не люди, а мы – люди, только обучились повторять их форму из дерева и глины, чтобы не забыть, чему учили настоящие, древние святилища. Те стояли в ущельях, где туман стелется так низко, что можно черпать его пригоршнями, в местах, где горы разговаривают друг с другом небо на небо, и в расселинах, где возы скрипят не от тяжести, а от благоговейного страха.

Драконы держали равновесие. Мне это объясняли так просто, что даже теперь стыдно за то, сколько в этом объяснении было мудрости. Когда рождается дитя – неважно, звериное или человеческое, кто-то должен следить, чтобы его крик не растоптал тишину насмерть. Когда умирает старик, кто-то должен держать его за руку, чтобы он не упал слишком глубоко и не испугался. Когда гроза приходит в горы, нужно, чтобы молния не сожгла рощу, но и не прошла мимо, лишив землю воды. Драконы были теми самыми «кто-то», в чьё отсутствие всё идёт не туда: хлеб плесневеет, птицы бьются в окно, дети плачут без причины. Они не были ни добрыми, ни злыми. Зло и добро – наши слова. У них было другое: мерность. Дыхание – оно и есть мера.

В те давние годы, говорили, люди умели слушать. Когда по хребтам текли огненные реки из драконьих небес, люди не строили плотины, а разворачивали свои поля так, чтобы золу приносило туда, где почва нуждалась в силе. Когда туман, пахнувший сосной и солью, накрывал долины, рыбаки оставляли лодки на берегу и шли домой: туман – сигнал отдохнуть, чтобы не иссохли мышцы и не зачерствели ладони. Колдунов не было, были повивальные бабки, травники,

мастера-слушатели. Мне нравилась эта мысль: магия – это не то, что делаешь; магия – это как слушаешь.

Но если бы всё шло только так, мои руки, наверное, пахли бы только мёдом и чаем, а не дымом и кровью. Где-то на длинной дороге между утробой и могилой, между медленным вдохом горы и быстрым выдохом человека, возшло зерно, которое мы теперь называем «голодом». Это не хлебный голод, нет; хлебный смывается дождями и покрывается новой мукой. Это голод знать больше меры. Люди принесли дракону дары, а потом задумались: почему дары – туда, а не сюда? Почему дракон знает, куда направить молнию, а я нет? Почему у травника всегда получают отвары, а у меня нет? Это был голод не к хлебу, а к весам.

Я не жалею на голод, как не жалуются горы на камнетёсов. Люди делают то, что умеют: пытаются сказать своё слово вторым, третьим, сотым, пока не прозвучит так громко, что заглушит дыхание. И однажды, так легенда утверждает, а я не нашла причин ей не верить, люди построили храм, который не повторял форму древнего, а спорил с ней. Храм был высоким и острым, как меч, и его крылья вставали поперёк ветра так, чтобы ловить всё, что ветер несёт, и складывать в отсеки. В этом храме родились слова «Хранители». И хотя в начале так называли не людей, а намерение – хранить от «лишнего» дыхание мира, – история любит, когда всё становится именами. Намерение стало людьми.

Среди моих трав есть одна – горькая и полезная: если она к тебе прижилась, всё, что лишнее, выгрызет изнутри без жалости. Листья словно точильные камни. Я часто думала: друзья-листки и Хранители похожи. Первые выедают жар из крови, вторые выедали жар из мира. Они не были убийцами в прямом смысле, так говорят те, кто читает книги ровно настолько, чтобы сжигать их потом правильным огнём. Хранители ловили огонь, вливали его в сосуды, охлаждали дыхание так, чтобы туман стоял до колена и не выше. Они были ремесленниками порядка.

Сначала драконы терпели. Терпение – одна из тех вещей, которые мы принимаем за слабость, а оказалось – это лён всего, без него ткань расползается. Драконы не любили слова. Они улыбались ветру, и ветер сам сгибался так, чтобы не хлестать по лицам. Но там, где в ветре появился железный шаг Хранителей, улыбка превращалась в оскал. Я не знаю, кто сделал первый шаг к схватке. Легенды, как и травяные сборы, плохо переносят точность. Где-то между храмом-мечом и первой обрушенной вершиной кто-то сделал вдох, который не принадлежал ему, и мир вздрогнул.

Говорят, горы тогда кричали. Я стояла в детстве под обрывом и слушала, как валятся снизу камни, звук проходил через подошвы в кости, и мне хотелось плакать без причины. Представьте себе ту же дрожь, только вместо камней – хребты. Драконы выдыхали пламя, и над храмами вспыхивали не свечи, а звёзды дневного света. В ответ Хранители поднимали свои копья – не железные, а сотканые из правил и уз, и направляли их в дыхание. И вот тогда, впервые, кто-то заметил, что вдох можно отрезать. Не убить, а отрезать. Как ножом нитку. Как акушерская петля перерезает пуповину. Отрезанный вдох – это не смерть, но и не жизнь. Это странная тишина, после которой мир ловит воздух с болью.

Мне кажется, именно с этого непомерного и для кого-то блаженного открытия всё и покатилось: если можно отрезать лишний вдох на буре – почему бы не укоротить дыхание самого дракона? Ненадолго, просто чтобы он не вмешивался, когда нужно строить мосты или заставы, когда императору нужно спать спокойно, а детям – не слушать ночной рык.

Так говорят легенды. А я верю им не потому, что люблю сказки, а потому что вижу растущий сорняк: там, где мы однажды нашли способ уравновесить, нам слишком легко хочется уравнивать. Уравнивать проще. Не надо слушать – нужно только мерить. Как воду в кувшине.

Дальше было проще рассказать, чем пережить. Сначала драконы ушли из долин. Потом их перестали видеть над перевалами. За-

тем, когда море стало скучным и туман потерял терпение, старики перестали рассказывать истории вслух, шептали их только детям на ухо, будто боялись спугнуть остаток дыхания. Хранители, как и всякая строгая трава, превратились в кусты, из ремесленников порядка они выросли в жрецов Закона. В храмах, что прежде учились у гор, заговорили на языке мрамора: ровно, холодно и убедительно. На крышах стали дрожать колокольчики, а внизу — люди перестали ловить рыбу при тумане, потому что туман мог прийти по расписанию и уйти по приказу.

Мир стал удобнее. Почти. Воды стало больше возле нужных полей, а звери, говорят, перестали сходить с ума весной. Только дети чаще рождались с пустыми глазами, а старики уходили так тихо, будто их не было. Неприятная мелочь, говорили учёные, — плата за цивилизованность. На рынках смеялись: никакой платы не существует, просто травники слишком много придумывают. А грудь мира начинала походить на грудь больного: вдох — короткий, выдох — тяжёлый. И чем больше я росла, тем настойчивее ловила в тропях леса и в костях горы чужую икоту: дыхание спотыкалось. Притихших драконьих шагов не слышно было так давно, что никто уже и не прислушивался.

Но если прислушаться, всё равно слышно. как пустота звенит.

Иногда ночью я выходила за порог с чашкой — пусть уж будет, и поднимала её к лицу так, как подносят ладонь, когда нужно убаюкать свечу. Пар от отвара шёл вверх мягко и смирно, и на сердце становилось легче. А потом вдруг ветер, не от двери, не от щели, а откуда-то с верхних троп, и пар распадался клочками, становился тяжёлым, как копоть. В такие минуты мне чудилось, что я слышу чужое хрипящее дыхание, и у этого дыхания не было тела.

В старых храмах, построенных по памяти, ещё оставались свитки. Там жила осторожная мудрость: не ставь купол там, где небо ещё умеет идти дождём; не гони огонь туда, где зерно слушает предков. Я не умела читать быстро, выводила по слогам, как ребёнок,

но хватало и так. И между строк, поверх чернил, иногда проступали вещие пятна, как будто кто-то выдохнул на бумагу, а чернила испугались. «Когда дыхание станет слишком дорогим, мир начнёт платить жизнями», – говорила одна приписка на полях.

Я спрашивала у стариков: куда ушли драконы? Они пожимали плечами. Одни говорили – за горы, где небо низко и снег не тает даже летом. Другие – в глубины, под корни, где у мира свой собственный колодец. Третьи – перевоплотились в озёра, синие и немые, потому что их языки обожгли слова. Но когда я выбирала у кого-то травы, а каждый старик в итоге становится травником, даже если всю жизнь был каменщиком, мне иногда попадалась тёплая веточка, словно кто-то только что держал её в руках. «Откуда?» – спрашивала я. «С южного склона», – отвечали, и взгляд у старика уходил в сторону, туда, где тропа делает вид, что её нет. «Там иногда прохрустывает земля. Как будто кто-то утомлённо переворачивается на другой бок».

Я не видела их. Я только училась слушать.

Потом пришли годы, когда люди перестали говорить «дракон» вслух. Слово заменили правильным: «химерический зверь». Из храмов убрали изображения, оставив пустые ниши, куда вставили зеркала – пусть каждый видит в отражении того, кому молится. Я однажды подошла и увидела себя, смешную, с измазанным травами носом, и для приличия поклонилась, потому что так делали все; а потом, выйдя, шёпотом посмеялась. Но смех испугался самого себя и побежал, а я осталась стоять на пороге и думать, что дыхание зеркала – это чужой, холодный вдох. Нельзя прижаться к зеркалу и согреться.

Я это рассказываю, чтобы вы поняли: легенды – не сахар на краю чашки, которым можно пренебречь. Это соль. Небольшая, но если её не будет, хлеб стынет во рту, словно камень. И всякий раз, когда я слышала, что где-то на другом конце наших гор кто-то нашёл каменный гребень, на котором будто оставался след от чешуи, или

видели ночью огненный пояс, опоясывающий далёкую вершину, у меня сжималось сердце. Не от жадности к чудесам, я была достаточно бедна на фантазии, чтобы понимать цену чуду, а от того, что мир не заслуживал такой тишины.

Старики умирают, храмы трескаются, детские ладони тянутся к зеркалам, и даже туман стал пахнуть иначе – не сосной и морем, а влажной тканью, которая слишком долго висела на верёвке. И вот где-то посередине этой тихой, удобной катастрофы, между аккуратно отмеренными дождями и ночами без грозы, легенда сделала то, что всегда делает, когда понимает: слушателей стало мало. Она перешла в шёпот предметов.

В нашей деревне есть один камень. Я могла бы назвать ещё десять похожих – они стоят вдоль дороги, серые, терпеливые, обтёсанные плечом и телегой, но этот один такой, что по нему всегда скатывается вода, даже если дождь прошёл далеко и ветер заблудился на другой стороне. Я полюбила этот камень с детства, он был как живая щека, прохладная и надёжная; когда возвращаешься из леса с корзиной, полной запахов, нужно коснуться щеки, чтобы понять, что ты ещё здесь, и не утонул в чае. Однажды, когда я уже была выше пояса камня, вода на его боку вдруг пошла не вниз, а вверх. Секунда. Две. Три. Капля медленно, как утомлённая улитка, поползла в сторону неба, а потом снова спохватилась, побежала вниз и спряталась в траве. Я постояла ещё, пережёвывая страх. «Что это?» – спросила потом у деда. «Это он вздохнул», – сказал дед, и мы оба знали, кто «он».

Я тогда подумала, что легенды – это не чужое прошлое, а наше толком не начавшееся настоящее.

Потому что если мир – это большая грудная клетка, то те, кто умеют дышать за него, не могут просто исчезнуть. Они могут уйти глубже, стать тихими, спрятать выдох в человеческую грудь и ходить по тропам, как мы – медленно, с усталостью, с солёным потом на висках. Они могут ранить себя, чтобы забыть, кто они. Могут, как уставшее солнце, спрятаться за гору подольше и дать небу поучиться быть тёмным.

Иногда мне снилось, что я стою на самой высокой тропе, там, где туман не стелется ковром, а держится как потолок, и где любая мелочь кажется важной: крепь травинки, слабость сапога, скрип в колене. И там, над самым обрывом, где только облака умеют держать шаг, лежит кто-то. Я не подхожу, во сне тоже есть разумность, я просто дышу. И пока я дышу, он тоже дышит, и наши выдохи складываются так, что получается песня, которой меня никто не учил. Тогда я просыпалась и долго сидела, замечая со стола черешки трав, потому что пальцы дрожали.

Легенда, выученная до обыденности, звучала просто: драконы ушли. Мир остался один, и потому его дыхание стало короче. Хранители стоят на хребтах, городах и у ворот, следят, чтобы огонь не разорвал плотно вшитую ткань закона. Мы живём рачительно, по погоде, которая не каприз, а ведомость, и привыкаем к тому, что чудо – это неудобство. Всё легко объясняется, всё легко заменяется. Тихая магия: травинка в ладони, успокоенная лошадь, птица, которую можно взять и снять с паутины от этого не перестала быть магией, но стала как будто стыдливой, как старик, который не хочет, чтобы видели, как ему тяжело подниматься в гору.

И всё же даже в такой вежливой усталости мира легенда оставляла узкую, как игольное ушко, дверцу, через которую можно было протиснуть надежду. Старики шептали: «Один остался». Это стало присказкой, потом – проклятьем, потом – исходной точкой любой злой шутки. «Один остался, конечно. Он сейчас продаёт рыбу на рынке», – смеялись городские. «Один остался – у тебя под кроватью», – пугали детей. Но когда уже взрослые, с морщинами, которые ничего не скрывают, а только подчёркивают, приходили ко мне за мазью от болей, то шептали мне, так же, как в детстве шептали сказки: «Говорят, последний из них ходит в человеческом обличье. Дышит плохо. Хранители ищут его, потому что его вдохи слишком дорогие. А он прячется в тумане, как рыба прячется в глубине, когда на поверхности – сети».